

Память детства — нет ничего важнее и нужнее этого для человека. Она, как пу-повина, через которую он получает необходимое подкрепление в течение всей своей жизни. Или не дополучает, или вовсе не получает — это уж как кому выпадет... Во многом мы те, какими нас сформировало детство, и даже первые его пять — семь лет. Хотя отдаленные воспоминания порой могут быть фрагментарными и неясными или же, наоборот, очень яркими, это вовсе не означает, что они таковы и по силе своего влияния на человека. Самое неясное и зыбкое из них может иметь доминирующее значение.

Неизбывная тяга людей вернуться в свое детство связана либо с желанием вновь оказаться в зоне комфорта и напитаться силою от родника любви и жизненной силы, исходящей от матери, отца, от родных и друзей, от родных мест, чтобы с новыми силами жить и трудиться; либо со стремлением что-то найти там или изменить, чтобы это найденное или измененное стало таким питающим источником. А кто-то хочет вновь вернуться в состояние маленького ребенка, может быть, даже эмбриона в утробе матери, чтобы сказать самому себе: «Видишь, жизнь, какой я маленький и беспомощный, что же ты все хочешь от меня?» Так или иначе, детство неразрывно связано с нами.

Но тогда ни о чем таком не думается. А вся жизнь, весь мир концентрируется вокруг тебя. И все нераздельно — и детство, и мир, и жизнь, и все вокруг в ощущениях, чувствах, словах — во всем...

Поселок Брагин, где Григорий родился, был центром мироздания, неким кругом в центре, вокруг которого был другой круг — Гомель, вмещавший в себя и первый. А вокруг Гомеля — Белоруссия, потом Россия и вокруг нее — Москва. Самой главной в этом мироздании была она, потому что по несколько раз в день из черного картонного репродуктора, висевшего на стене над Гришиной кроватью, громким начальственным голосом раздавалось: «Говорит Москва!»

Хорошо помнит Григорий стоящую на столе керосиновую лампу и почему-то плачущую подругу матери — дальнюю родственницу отца, бабушку Аню и самих отца и мать, скорбно сидящих вокруг лампы. Они говорят, что Миша погиб, что уже

нет этого хорошенького способного мальчика, и плачут. А он думает: как это Миши нет? Вот недавно, сегодня, мы с ним играли, и завтра будем играть, когда с мамой пойдем с ответом в гости. И куда может деться Миша отсюда, из центра мироздания, каким является Брагин? Ведь все, кто едет по делам в Гомель, Белоруссию, Россию и даже Москву, все они, все до одного, через какое-то время возвращаются в Брагин. Правда, говорят, что некоторые не возвращаются. Может, они нашли там то, чего нет здесь? Это странные люди, чудачки, так как в Брагине есть все. Поэтому большинство людей никуда не деваются... Миша попал под машину? Интересные люди эти взрослые! Кто же не хочет попасть под машину, чтобы посмотреть — а что там у нее, снизу, находится? Посмотрит и вылезет, что непонятного, зачем плакать весь вечер? Лучше бы почитали что-нибудь вслух...

Но ни завтра, ни потом Миша из-под машины не вылез. И Гриша понял, что люди, даже очень маленькие люди, могут исчезать просто так, не уезжая из Брагина, чтобы остаться во внешних кругах.

* * *

В ясли Гришу не отдали — декретный отпуск был тогда большой, да и бабушка Рая — мамина мама — приходила почти на весь день помогать. Позже его для общего развития определили, было, в детсад. Из-за непривычно раннего вставания и одевания запомнилось ему это морозное утро поздней осени. Стекло, из-за тепла от затопленной печки, очистилось от влаги, и в окне, в свете фонаря, было видно дерево с кое-где уцелевшей, покрытой инеем листвой.

Однако недолго пробыл Гриша в детском саду — после первого же обеда его, привыкшего к сугубо «нежной», домашней пище стошнило и вырвало, прибежала мать и навсегда забрала его домой.

Мать имела правильный овал лица, темные волосы, модную в середине 50-х прическу и мечтательное выражение серо-голубых глаз. Отдыхала она редко, обычно хлопотала с детьми или по хозяйству. Иногда она пела, но делала это как-то натужно; писала стихи, но прятала, стеснялась...

Когда ему было три года, родилась сестра — Галина. Он очень хорошо помнит, как открылась дверь, пахнуло свежим октябрьским воздухом, сквозь распахнутые двери сенцев был виден кусок чистого, голубого неба, и вошла мать с белым свертком на руках. «Это твоя сестренка!» — сказала она, обращаясь к нему, и он запрыгал от радости вокруг кольца крышки подвала, держась за нее рукой. Когда мать вышла из декретного отпуска на работу, Гриша часто нянчился с сестрой. Однажды он так сильно раскачал колыбель, что она перевернулась и, встав на попа, накрыла ребенка. Хорошо, что Галочка не пострадала, только испугалась. Но влетело ему здорово. Однако трепка и стояние в углу — а во дворе был прохладный, сияющий август, когда в отсутствие жары хотелось бегать и прыгать, — были все же компенсированы вкусными картофельными драниками* с молоком — уж такова была бабушка Рая. Ее, неграмотную, никто никогда не учил педагогике, но она была педагогом от природы, причем высшего класса, ибо ругала и наказывала очень редко и только за большие проступки, что запоминалось на всю жизнь, как и драники с молоком.

* * *

Когда Грише шел шестой год, вдруг в большом черном репродукторе, который

* Драники — картофельные оладьи, блюдо белорусской кухни, популярное также в украинской, русской, восточноевропейской и еврейской кухнях. Традиционно драники подаются горячими со сметаной (или молоком — прим. авт.).

висел над его кроватью, вместо привычных песен, музыки и коротких разговоров, раздались длинные дядины выступления. Было очень скучно. А тут еще все: тети, которые тогда были в гостях, отец и другие взрослые стояли возле и сидели вокруг стоящей на столе керосиновой лампы, и никто с ним не занимался. И Григорий хорошо запомнил, как тетя Лиля, в ответ на чьи-то повторяющиеся слова: «Сталин», «Сталин», тихо, но с таким презрением, что зафиксировалось в сознании и подсознании мальчика на всю жизнь, сказала: «Мужик!». Только потом уже, будучи подростком, он расспросил отца — что это было? Тот объяснил, как мог, мол, осуждали Иосифа Виссарионовича Сталина после его смерти. Саму же смерть Гриша не помнил — было ему тогда два с половиной года — и знал о ней, опять же, только по рассказам родных.

* * *

Керосиновая лампа давала мягкий-мягкий свет, позволяющий видеть в комнате все и одновременно сохраняющий таинственные уголки зыбкого полумрака, где жили загадочные тени и тайны.

Часто вспоминал Гриша, как, когда в сумрачном небе за окном уже едва различались темно-синие облака и была зажжена лампа, за столом, у самого света, сидит бабушка Аня и что-то штопает. По другую сторону стола отец, недавно пришедший с работы, читает газету. Первым делом он подходил к Грише, и тот помнит его всегда теплые руки. Детьми отец совсем не занимался,— изредка потреплет рукой по волосам, и все.

Вообще-то это комната тети Фаины, свояченицы бабушки Ани. Но в нашей комнате мать занимается с двумя младшими сестренками — Галей и Кировой, и остальные члены семьи собрались здесь, чтобы не мешать. Тетя, очень устающая в ателье, где она с утра до вечера кроит и шьет, шьет и кроит, лежит сейчас на своей застеленной покрывалом широкой кровати. Гриша сидит рядом с ней, так как очень любит в это вечернее время, при живом свете керосиновой лампы, слушать, как она своим мягким, задушевным голосом рассказывает сказки. Да и как не любить, если все так ладно ложится на детскую душу?

Звуки приветливой тетиной речи приятны Грише. Частенько она успокаивала его после взбучек, получаемых им, баловником, от строгой матери. А тот, зная, что только тетя может это сделать, сразу же бежал к ней, прижимался и, сотрясаясь от рыданий, доверял все, вмещавшееся в сердце.

Бабушка Рая, заменившая потом детям умершую тетю Фаину, тогда еще не жила с ними. И тетя была единственным человеком, с которым дети могли поговорить по душам, получить объяснения своим поступкам и понять, что они все равно хорошие, только нужно чуть-чуть исправиться.

Гриша ждал конца рабочей смены тети Фаины и шел ей навстречу. Только завидев ее, немного сутулую, размеренной усталой походкой идущую по тропинке (тропуар у них в поселке был с другой стороны центральной улицы), вприпрыжку бежал ей навстречу, обнимал и, взяв за руку, шел рядом. У тети никогда не было своей семьи и детей, и она очень любила внуков своей сестры, особенно Григория. Вот и сегодня, в этот ясный, с чуть розовым небом, вечер, пройдя так с ним немного, она дала рубль на мороженое. Он бежал к киоску, который был недалеко, и покупал их основное детское лакомство — молочное мороженое в белом бумажном стаканчике с деревянной плоской ложечкой. Если отковыривать холодную сладкую массу по чуть-чуть и слизывать ее с ложечки, смакуя вкус мороженого и дерева, то удовольствие можно продлить надолго.

Тетя Фаина умерла достаточно молодой. Она лежала на покрытых белыми про-

стынями сдвинутых столах в окружении многочисленных зажженных свечей. В комнате полумрак — окна и зеркала занавешены. Некрасивое, но всегда доброе лицо ее было сейчас и знакомо, и не знакомо, как будто некая полупрозрачная маска, придающая ему заостренность, лежала на нем. Все говорили тихо, почти шепотом, ходили на цыпочках и переживали, но более всего Григорий и бабушка Анна, для которой свояченица была самым близким человеком в поселке. Слезы медленно катились по ее морщинам, и голова кивала в такт беззвучным молитвам. Было как-то немного страшно, будто что-то неведомое залетело к ним в дом и навсегда унесло из него теплое, доброе, родное... Только много позже Григорий понял — тетя была в его жизни другом, близким сердцу, дорогим человеком, ее любовь и доброта первыми обогатили его для грядущей жизни.

Мать не плакала, но лицо ее было сурово печальное. Она держалась, молча, немного в стороне. Ее небольшое тело, прямая и твердая осанка, строгое лицо, прямой взор серо-голубых глаз вспоминаются Грише и по сию пору. Видимо присутствие смерти обостряет восприятие.

Гриша грустил, но вместе с этим чувством было непреодолимое стремление, чтобы все увидели, что он переживает больше других. И еще он ловил себя на наблюдении всяких мелочей — деталей одежды людей, колебания свечных огней, дышит ли покойница, птиц и шевеление листья за окном... А еще — Грише было стыдно — очень хотелось бегать, играть и смеяться...

Вдруг зашли какие-то чужие люди, вынесли тетю Фаину на улицу и унесли куда-то далеко-далеко. Больше Гриша ее не видел...

Погода стояла осенняя, было ясно и ветрено, но деревья стояли уже голые, без листьев... Гриша с соседскими детьми принялись, как обычно, играть, бегать, шалить, но подошла соседка и, обращаясь к нему, сказала: «У тебя тетя умерла, а ты балуешься и кричишь. Нехорошо...»

* * *

Повлияли ли смерти Миши и тети Фаины на детское сознание? Безусловно, повлияли. Как? — Это другой вопрос, ответить на который трудно, ибо другого не дано, потому не с чем сравнить. Похоже, жизнь «решила» не давать маленькому человеку находиться в состоянии постоянного благодушия, подобно одной знакомой матери — Гриша ее иначе как «тетка» не называл, — при каждой встрече очень больно щипавшей его за щеку.

* * *

Мать погибшего Миши, тетя Майя, работала продавцом в книжном и одновременно канцелярском магазине. Гриша с мамой частенько заходили туда, и, может быть, оттуда любовь его на всю жизнь к книгам, тетрадкам, карандашам и ручкам, и вообще ко всей канцелярской продукции (что интересно — даже к той, которой тогда и в помине не было). До сих пор ему нравится заходить в такие магазины и, даже ничего не покупая, просто побродить между полками, полюбоваться прилавками, подержать что-то в руках и... понюхать. Да-да, понюхать! Запахи этих товаров приятно радуют и по каким-то неведомым связям подсознания укрепляют жизнелюбие и вселяют уверенность в неких неясных еще будущих свершениях. Почему так? Видимо, это не только из-за визуальных, тактильных и обонятельных впечатлений раннего детства, но и слова какие-то говорились тогда взрослыми, правда, не помнит он их, запечатленных в глубинной, не поддающейся вербальному вскрытию памяти.

Память же — интересная по своей природе штука. Вот взять, например, бабушку Аню, маму Гришиного отца, которая, в отличие от тети Фаины, была немногословна, сдержана и держалась несколько в стороне от внуков. А ведь запала в душу, и память о ней у Григория жива и поныне.

Бабушка молодой девушкой вышла замуж, но тут началась война. Дед, которого тоже звали Григорий, в 1914-м был призван в армию и направлен на фронт. В 1917-м году он попал в немецкий плен и заболел там туберкулезом. Истощенный донельзя, но так и не бросивший курить, вернулся в 1922-м году из неволи. Однако не долгод был домашний покой деда — успел подремонтировать дом, зачать сына и — умер, так и не увидев его.

Осталась бедная Анна одна с сыночком, с малюткой и так и не вышедшей замуж свояченицей, тетей Фаиной. Так и жили они, зарабатывая шитьем и ремонтом одежды, да садик с огородом и куры немного помогали.

Но беда одна не ходит. Положила младенца на печь (в восточной Белоруссии на кухне ставили русскую печь, имевшую лежанку) и пошла хозяйственными делами заниматься. И то ли положила плохо, то ли вертеться сильно стало дитя, но упал он и сильно повредил себе позвоночник. Так и остался отец на всю жизнь с сильно искривленным позвоночником — одно плечо было на сорок пять градусов выше другого. Да и сам по себе родился слабеньким — от отца-то туберкулезника, к тому же истощенного пленом.

В Отечественную войну семья уехала в эвакуацию. Произошло это благодаря Гришиному отцу, живо интересовавшемуся всем, в том числе и зарубежной политикой. Они не поддались на агитацию ходивших по домам людей из евреев, убеждавших таких же, как они, не уезжать, оставаться по домам, памятуя о том, как хорошо относились немцы к евреям в Первую мировую войну. Многие поддались на их угрозы. Чем все это закончилось — хорошо известно...

Всю жизнь трудилась бабушка Аня за иглой, ножницами и швейной машинкой, да в огороде вместе с тетей Фаиной, растя сына, дав ему среднее и средне-специальное образование бухгалтера.

Говорила она на идиш*, — которого ни мать Гриши, ни тети, ни дети не знали, а Григорий, сколько себя помнил, стыдился перед друзьями, — и смеси русского с белорусским, ходила во дворе и огороде зимой и осенью с весной в обычной деревенской одежде: ватнике и теплом платке, башмаках или валенках, а летом — в простом ситцевом сарафане. И лишь когда выбиралась по делам в поселке или в гости к знакомым, одевала свою лучшую на все времена, праздничную одежду. Религиозности за ней не наблюдалось, хотя пасху соблюдала как положено. Когда же Грише было десять лет, и объявили о полете Гагарина, между ними состоялся такой диалог:

— Вот видишь, нет Бога: Гагарин никого там не увидел! — воскликнул восхищенный Гриша.

— А Бог еще выше! — ответила она ему.

Бабушка с матерью плохо уживались, часто ругались, да так, что вся улица слышала мамин голос и бабушкино: «А ты йди, не мучай мяне, хватить, хватить!..»

Она всегда была спокойна и чувствовала все. Григорий до сих пор помнит ее лицо, глаза, голос и то, как она обращалась к нему всю жизнь: «Унучок!»

* Идиш — еврейский язык германской группы, исторически основной язык ашкеназов, на котором в начале XX века говорило около 11 млн. евреев по всему миру. Идиш возник в Центральной и Восточной Европе в X—XIV веках на основе средневерхненемецких диалектов с обширными заимствованиями из древнееврейского и арамейского и (в восточной ветви) славянских языков, а позднее — и из современного немецкого языка. Сплав языков породил оригинальную грамматику, позволяющую комбинировать слова с немецким корнем и синтаксические элементы семитских и славянских языков.

В детстве Гриша был худющий, как говорится, кожа да кости. При этом у него была длинная шея, на которой вертелась во все стороны любопытная голова, длинные, несоразмерные с ростом руки с худыми пальцами, и такие же длинные ступни. Про походку никто ничего не говорил, но, став взрослым, узнал, что походка в течение жизни практически не меняется. Значит, она и тогда была важной. Потому неудивительно, что прилипла к Грише, еще до того, как пошел в школу, кличка «гусь». Немалую роль в этом сыграли его будущие приятели, которых он до школы знал лишь издалека.

Однажды Григорий играл во дворе своего дома, в котором жили тогда две семьи. Двор от улицы отделял не забор, как позже, а простой редкий штaketник. Стояла ясная солнечная погода, в небе кудрявились белые облака, а между ними была видна яркая синева. На другой стороне улицы, на лавочке, сидели двое белобрысых ребят его возраста и, показывая на него пальцем и смеясь, кричали: «Гусь, гусь!..»

Дом, у которого сидели ребята, был необычным. Там вместе с родителями и сыном жила красивая, но тихо помешанная женщина. Когда не нужно было трудиться по хозяйству, она часто сидела на лавочке, сложив на коленях руки, и подолгу глядела в одну точку перед собой. Рассказывали, что во время оккупации за ней ухаживал немецкий офицер, и она постепенно стала отвечать ему взаимностью. Офицер говорил, что любит, был добрым, культурным и заботливым, все время носил продукты, делал подарки. Она забеременела от него и родила сына. Когда немцы отступали, офицер уехал вместе со всеми, оставив ее с ребенком перед лицом всеобщего недоброжелательства и осуждения.

Борис вырос в высокого красивого темноволосого парня. Война закончилась всего десять лет тому назад, и в памяти людей еще было очень свежо все, связанное с ней. Поэтому друзей у него не было, знакомые одноклассники были не в счет. И Борис тянулся к соседским детям, лет на пять-семь моложе себя, и к ровесникам, приезжающим из Гомеля и Минска погостить у родных. Борис был добрым и ласковым парнем, и ребята, чувствуя это, отвечали ему тем же.

Будто сейчас видит Гриша, как сидят они во дворе на скамьях за серым дощатым столом, на который из-за яблони ложится полоса яркого солнечного света, и Борис читает им книжку. А с ветки прямо на стол вдруг слетела птица, с любопытством, наклоняя голову то в одну, то в другую сторону, поглядела на них, на книгу, пару раз прыгнула и упорхнула. Борис отложил книгу и смастерил с ребятами птичку-игрушку. Он любил делать детям игрушки и играть в их игры. Ребята все знали о нем, но никогда не возникало даже желания что-то сказать, подразнить, как это часто бывает в детской среде. Надо думать, все дело было в его теплоте, она растворяла в зародыше все дразнилки, прозвища, все злое, что в избытке появлялось на неуправляемых еще «молодых» языках в других ситуациях и с другими детьми, и даже с взрослыми людьми.

По каким-то неведомым законам образ Бориса тесно переплелся в памяти с тетей и керосиновой лампой. Можно, рассуждая логически, попытаться вывести некие закономерности этого явления. Григорий в своей взрослой жизни не раз возвращался к этой ассоциации, но ему никогда не хотелось рассуждать на эту тему, ибо какой-то частью души он чувствовал — хирургический нож ума может разрушить неповторимое сплетение людей, явлений и предметов, создающих некое духовное пространство, некое окно во времени, через которое ты приобщаешься к восстанавливающему что-то в тебе и питающему источнику света и тепла в душе.

Потом, по прошествии времени, Григорий часто задумывался о том, какая все-таки интересная штука жизнь. Кто бы мог подумать, что та трагическая потеря друга в первые, ранние годы, какая произошла у него, станет началом в длинной цепочке дружеских потерь и расставаний. Но тогда, когда ему еще не было семи лет, он, сидя у керосиновой лампы, вовсе не думал об этом. Ведь в детстве жизнь — это не то, что прошло, и не то, что еще не наступило, а только то, что происходит вот здесь и сейчас, и воспринимаемое глубоко и многомерно. Слова эти нашел уже потом, вспоминая свои ощущения того времени, но они очень неточны. А вернее, нет терминов в языке взрослого человека, описывающих детское восприятие, глубоко отличающееся от взрослого. Может быть, это и есть истинное, незамутненное ничем восприятие, во многом определяющее наши теперешние симпатии и антипатии, предпочтения и неприятия. И любовь к свечному и, вообще, спокойному огню, может быть, имеет корень в той самой керосиновой лампе на столе. А тяга в течение всей жизни к старшему по возрасту другу — в том парне по имени Борис, который дружил и играл с Гришей в детстве. Или, например, внутренний идеал матери и жены, как доброй и теплой, спокойной, успокаивающей и, одновременно, побуждающей к самоуважению и мужеству, создавался благодаря тете Фаине и бабушке Рае. Обо всем этом можно много говорить и спорить, и никто не даст однозначного ответа на эти вопросы. Одно может сказать Григорий теперь определенно — очень многое формируется в детстве и, особенно, в первые его годы.

* * *

Гришина семья дружила с семьей Стрибуков. Бабушка Настя с мужем-плотником жили наискосок от их дома, а сын же ее Иван с семьей — по соседству, справа. У молодых был патефон, и мать иногда просила его с пластинками на вечерок, послушать песни. Патефон для нас тогда был волшебством — крутя ручку, заводит его, потом ставит пластинку и на нее звукосниматель с иглой, а сами песни!.. Бабушка Настя часто угощала нас, детей, жареными семечками и целыми сырыми подсолнухами, рассказывала истории из недавнего военного прошлого поселка, которое все еще было свежо в памяти.

Позже, купив недалеко от нас дом, переехала в Брагин еще одна семья Стрибуков, но к первым они не имели никакого отношения. Мать сразу подружилась с ними, а Валера стал Гришиным другом, и они частенько играли вместе и разговаривали на разные темы... А еще мать очень близко сошлась с Ниной, еврейкой, отринутой ее семьей из-за позиции по ряду вопросов, когда честность для нее стала выше семейной солидарности...

* * *

Закончилось раннее детство Григория с приездом деда Ильи с супругой из Ташкента на отдых в Брагин. Его встречали всей семьей: мать, бабушка Рая, отец, бабушка Аня и дети. В кустах на площади автовокзала трещали воробьи. Небо на юго-западе окрасилось в розовые, алые и где-то оранжевые тона. Все пошли пешком к дому, находившемуся недалеко от автовокзала.

Дед оказался полной противоположностью отцу — мягкому и доброму человеку, был мужественен и где-то даже суров. И Григорий насторожился, почувствовав в нем крепкую руку.

Деда все время тянула природа средней полосы, и уже на следующий день он взял внука с собой на рыбалку. Они долго шли по улице, потом по берегу Брагинки к

тому месту, где ждала лодка, арендованная дедом. Стоял конец июля, и после долгих дождей, шедших вслед за испепеляющей июньской жарой, когда речка обмелела, а травы пожухли, природа возродилась: полноводная река омывала берега с вновь зазеленевшей растительностью.

И вот они в лодке. Родители Гриши, несмотря на жизнь в сельской местности, не были любителями походов далее чем в парк, кинотеатр или на рынок. Он впервые в жизни ощутил качающуюся под ногами поверхность — дно лодки — и чуть не потерял равновесие, но довольно быстро освоился и стал балансировать. Устроившись, рыбаки отошли от берега. Дед прекрасно греб, умело управляясь веслами. Вокруг росли различной породы деревья и кустарники, от их отражения и от обилия водорослей вода была приятного глубинно-зеленого цвета. Запах речной воды, особый и неповторимый, смешивался с запахом трав и цветов, которые покрывали весь берег.

В месте, известном только специалистом-рыбаком, лодка замерла. Когда вода успокоилась и гладь реки нарушалась лишь тонкими дрожащими пупырышками от жизни водных насекомых и от всякой мелочи, падающей с деревьев, дед шепотом, приложив палец к губам, сказал: «Тихо...» и осторожно достал удочки. Освободив леску, он открыл коробочку с заранее приготовленными червями и насадил по одному на крючок каждой удочки. После этого мастерски забросил их по обе стороны лодки, застывшей на середине реки, и они стали ждать. Нужно сказать, что рыбы в Брагинке водилось вдосталь, и вскоре, ну, может быть, часа через два, на одном месте наши рыбаки наловили ее с полведра. Проплыв на лодке еще метров двести по живописному водному коридору, они, вернее, дед, а Гриша по большей части как свидетель, скажем, с небольшой степенью участия, повторили все предыдущие действия. Так эта «сказка», — Григорий внимал каждому движению деда, каждому действию в процессе рыбалки и всему окружающему, как некоему волшебству, так как никогда в жизни ничего подобного не видел, — продолжалась почти весь световой день. Рыбы они привезли столько, что ее хватило и на уху всей большой семье из девяти человек, с учетом деда с супругой, и пожарить, и на второй день осталось, а что-то и вялить повесили во дворе на веревке, предварительно хорошенько засолив.

Гриша с дедом Ильей не только катались на лодке, но и бродили по окрестностям поселка и уезжали в лес за грибами и ягодами. Впечатлительная детская память мальчика зафиксировала один из таких дней, когда они возвращались с полной корзиной подберезовиков и белых грибов. Стоял ясный день, было еще не жарко — солнце спряталось за облако и все вокруг обрело более глубокий — густой и бархатный — окрас. Ветер принес свежесть и запах зелени. Затем солнце снова выглянуло, и опушка леса, по которой они шли, и луг осветились радостью и весельем. Припекало, и над дальним полем заметно заструились потоки испарений...

Эти сказочные путешествия на всю жизнь врезались в память Григорию, так как тогда перед ним впервые открылись двери в природу. До сих пор свежи в памяти запахи речной воды, тины, кувшинок и трепещущей в ведре рыбы, запахи леса — прямой дождем травы, елей и сосен, набело вымытых березок, молодцеватых дубков, ясеней и грабов, пьянящей земляники, черники и всевозможных грибов. Да, для него это было волшебной сказкой. С тех самых пор Гриша не может жить без контакта с землей и водой, лесом и полем, без всего того, что можно назвать одним словом — мать Природа...

* * *

Приближался сентябрь. А в конце октября Грише исполнилось семь лет. Родители хотели, чтобы он пошел в школу через год. Но дед провел с родителями беседу по поводу пойти учиться в неполные семь лет и настоял на поступлении в школу в этом году.

Каждый знает, что школа накладывает на все происходящее с тобой и вокруг тебя свой отпечаток, игры и отношения становятся уже другими, наполненными несколько иным содержанием. Поэтому в том сентябре началась для Григория другая жизнь.

Знаковым, предопределившим многое в его жизни, стал день первого сентября 1957 года — первый школьный день. В поселке было две школы — белорусская и русская. В русской школе было два первых класса и, соответственно, две учительницы. Одна, Евдокия Дмитриевна, была добрейшей души человеком, буквально излучающим свет доброты, а другая, Марья Петровна, — строгая, жесткой манеры поведения... И на протяжении всего этого первого дня каждая из них неоднократно уводила Гришу за руку из другого класса в свой. С тех пор два начала, воплощенные в этих учительницах, состязались в нем всю жизнь. Но победило все же светлое, благодаря доброй учительнице, незабвенной Евдокие Дмитриевне...

* * *

Мать уговорила деда Илью — брата бабушки Раи, помочь деньгами для покупки второй половины дома, в котором жила другая семья, с последующим строительством на ее месте новой пятистенки, соединенной со старой частью в один дом. Дело было достаточно затратное, все это по подсчетам должно было стоить около десяти тысяч рублей (это уже после денежной реформы 1961-го года). Дед был достаточно богат — сапожник-индивидуал в Ташкенте — и согласился подарить эти деньги своей сестре, усомнившись, что в течение всей жизни никогда ничем не помогал ей. Но при этом поставил условие, что будет приезжать с женой каждое лето на один месяц — рыбачить на лодке и ездить в лес за грибами да ягодами. Он, как и бабушка Рая, был уроженцем Витебской губернии и помнил, и любил все это с детства. Когда было достигнуто обоюдное согласие, сделка по покупке второй половины дома состоялась быстро, так как соседи переезжали то ли в Гомель, то ли в Минск, уже не упомнит он сейчас. Но отлично запечатлелось в памяти, как, не дождавшись пока соседи — женщины с детьми — покинут помещение (до автобуса оставалось еще время, но пришли рабочие), мать велела ломачами и кувалдами рушить стену, разъединяющую две части дома. До сих пор Григорий видит обиженные лица бывших соседей.

Когда строился новый дом, было лето. И пока закладывался фундамент, ставился сруб, русская печь и грубка*, и потом внутри стены обивались дранкой и штукатурились, все жили в старой части дома.

Грише шел одиннадцатый год, и он с ребятами, от нечего делать, в школьные каникулы, наблюдали за работой штукатуров. И тут у них возникла идея — помочь взрослым — самим поштукатурить. Ну, а те и рады были, поручили детям шлепать раствор на прибитую заранее к стене дранку и размазывать его шпателем. Когда мать пришла на обед, она была в ужасе: разогнала «помощников», что есть мочи ругала сына, а работникам выговорила и заставила все переделать (а это целая стена). Так закончилось первое Гришино приобщение к производственному труду.

Стояла середина лета. Гриша спал теперь в большой светлой комнате, и, проснувшись, старался быстрее встать, ибо энергия радости и желание что-то делать переполняли его. Он жил с широко открытыми глазами и так полно, как будто вся жизнь происходит в эту конкретную прекрасную и наполненную невероятной глу-

* Грубка (белорус.) — чисто белорусское устройство типа камина, которая обогревала сразу все комнаты: небольшая четырехугольная печка для отопления, нередко соединявшаяся с печью общим дымоходом, которую клали из обожженного кирпича (раньше из сырца), поверхность обмазывали глиной, белили или покрывали кафелем. Чтобы грубка лучше нагревалась, дымоход делали с поворотами. Сначала грубка имела общий дымоход с печью, позднее — отдельный.

биной минуту. Наверное, это и есть счастье, и почему-то все совпало именно с вселением в новый дом!

Вернется ли когда-нибудь это состояние полноты неосознаваемой веры в себя, ничем не ограниченной естественной любви ко всему окружающему, веселья и неограниченного ничем желания любви к себе, а отсюда и непосредственное, без рефлексий и иных отягощений, но, в то же время, подсознательно мудрое решение всех забот и потребностей? Неужели навсегда ушло это и остались только далекие и редкие воспоминания, да и то только когда есть на это время, настроение и здоровье?..

А дом был хорош. Четыре большие, просторные светлые комнаты: кухня и столовая, разделенные только большой русской печью, с проходом между ней и стеной; зал и спальня — стандарт белорусской пятистенки. Между четырьмя этими комнатами — в их перекрестии — была грубка. Печь ведь топилась только утром, когда готовился обед или когда пеклись пироги и пирожки. А ужин разогревался на керосинке.

Чем еще нравился дом, так это холодным крашеным полом, что особенно привлекало летом, в жару. Подметешь его, помоешь (а Гриша делал это почти ежедневно как старший помощник матери — девчонки-сестренки Галя и Кира тогда были маленькими) и ляжешь на него спиной с книгой — любота!

В сенях всегда, начиная с октября, зимой и до поздней весны стояли две бочки: одна с квашеной капустой, другая с солеными огурцами.

Вокруг дома, вернее, с двух сторон: со стороны двора и сзади — росли кусты сирени разных сортов — мама очень любила ее и, вообще, цветы. Вдоль дорожки от калитки до сени росли розы, георгины, пионы, астры, маргаритки, анютины глазки, табаки и другие цветы. Отсюда, наверное, и у Григория возникла любовь к их красоте.

* * *

Особое место в усадьбе, а она теперь удвоилась и стала площадью в двенадцать соток, занимал сарай. Он стоял посередине и был довольно большой — в нем хранились необходимые для работы в саду и огороде инструменты, дрова, всевозможные ящики. Был и отгороженный угол, где одно время жил поросенок, очень любивший рыть под собой землю, а затем в течение двух лет — корова, обожаемая детьми. Они гладили ее, провожали утром на улицу — в стадо, ведомое пастухом на выгон, а вечером радостно встречали, когда она сама останавливалась у калитки и мычала, просясь домой. Правда, два года пили теплое парное молоко — не очень приятная процедура для всех детей,— но послушаться матери не смели. Наверху, на полатах, еще долго хранилось духмяное, пахучее сено.

Однажды корова отелилась, и Гриша с сестренками не помнили себя от радости, бегали смотреть на телят, гладили его по еще влажной шкуре, глядели в блестящие доверчивые глаза. Корова-мать, ревниво косясь на них, облизывала свое дитя, мычала и старалась встать между.

Но как-то вечером, зайдя в стойло, Гриша не нашел там ни телят, ни его матери. Плача, он подбежал к родителям и узнал страшную новость, потрясшую его до глубины души — телят продали, а корову забили. Гриша еще не понимал тогда, что означает слово «забили». Но в тазах, бочонке, корыте, выварке лежало свежее мясо. Его варили, солили, жарили, делали колбасу, делились всем этим с соседями. Дети ели с аппетитом, так как растущие организмы требовали питания, и все было очень вкусно. Но при этом в душе Григория было горько и больно, ибо он понимал,

что ест любимую Маруську. То же, но, может быть, не так осознанно, творилось и в душах младших сестренек. Гриша видел их удрученное выражение опущенных в тарелки глаз. Ощущение было не из лучших, как будто предали дорогого друга. По силе трагичности это было второе событие после смерти Миши. Но никто в этой гибели не был повинен — ни родители, ни тем более дети,— Маруська сильно заболела при отеке, и ветеринар сказал, что нужно резать, пока не издохла.

Когда не стало Марушки, сарай словно опустел. Гриша с ребятами частенько забирались на сеновал, лежали на мягких охапках сена и болтали. Сеновал почему-то располагал к разговорам о том, о сем и к не вполне ясным детским мечтам.

Сарай был интересен еще некоторыми своими свойствами. Ну, во-первых, его ворота, если их распахнуть настежь, можно было использовать как футбольные. Но однажды добрая душа, сосед наш, дядя Ваня Стрибук, повесил на перекладине ворот добротные качели, и детвора много качалась на них, следуя подсознательной склонности к этому, связанной, видимо, с еще свежей памятью души о полетах.

Сарай, поскольку был без фундамента, привлекал к себе возможностью делать подкопы под стенку и, соответственно, тайные лазы, прикрытые кое-чем, через которые всегда можно было скрыться от родителей — зашел в сарай, а нету нигде,— и особенно от наказания матери, которое, конечно, было неминуемо, но уже не в пылу страсти, а также от «врагов» при игре в войну и в шпионов-разведчиков.

За сараем было место, где среди низкорослой, стелющейся травы кишмя кишели муравьи, в разных направлениях от муравейника — невысокого холмика — они бежали порожняком, а к «дому» — уже нагруженные разными тяжестями. Дети часто, забавляясь, играли с ними, мешали им, создавая искусственные преграды и наблюдая, как они преодолевали их. В огороде было много бабочек и стрекоз — великолепных созданий, разных цветов, узоров и оттенков. Было интересно следить за их действиями. Они частенько доверчиво садились на детские руки. Солнце, запах цветов, травы, садовых и огородных растений, стрекот кузнечиков и бабочки со стрекозами — чудо летней поры.

* * *

На участке же, состоявшем из сада и огорода, каких только плодовых деревьев и ягодных кустов, посаженных руками матери, не росло. Там были разных сортов яблони, груши, сливы и вишни. По краям огорода росла черная, красная и белая смородина, крыжовник. А за сараем, как всегда в окружении крапивы, были заросли малины. Росла и клубника, но это — ягода особой стати. За ней требовался постоянный уход на особой плантации, прополка, поливка. Так что правильнее сказать: не она росла, а ее выращивали...

Благодаря этому, лето ассоциировалось для детей с возможностью выйти в сад и, что называется, «от пуза» наесться фруктов и ягод. Но мать, для поддержания всего благолепия, приучала их к посильному труду. Были обязанности и у Гриши, и работа легко спорилась, так как выполнялась с удовольствием. Нужно было полить теплой водой из бочки грядки огурцов, помидоров, лука, чеснока, морковки и зелени, предварительно прополов их от сорняков, а затем в ту же бочку натаскать ведрами воду из колонки.

Все остальное пространство огорода занимал картофель. Он рос высокими стеблями, и для Гриши — еще и в раннюю пору, когда их семья владела только половиной дома и участка,— это было дополнительным и увлекательным местом для игры. Индейцем, партизаном, разведчиком — с самодельным автоматом из стебля подсолнуха, с приспособленным к нему прикладом и магазином, с устроенной на дуле большой рогаткой,— он ползал между грядками под густой листвой, как в джунглях.

Причем умудрялся так ловко изгибаться, что мог проползти весь огород, и никто не замечал никакого шевеления.

* * *

Огород переходил в болото, весной и осенью полное воды, к лету же расцветающее кувшинками и ряской. Округа наполнялась кваканьем лягушек, тучи комаров витали вокруг, и множество стрекоз охотились за ними. Болото дышало, звучало своими особыми, свойственными только ему звуками, и непередаваемые запахи — смесь растущей и цветущей зелени, застоявшейся воды и естественной растительной гнили — стояли в воздухе. В июне болото высыхало — из земли торчали лишь сухие стебли, но не уходило совсем, до поры до времени пряталось в вырытые, — чтобы быстрее осушалась земля, — то тут, то там глубокие, выше человеческого роста и достаточно широкие канавы, казалось, доверху наполненные ряской, тиной и лягушками.

Ребята, взяв длинные палки, любили болтать ими в канаве, пугая ее обитателей — лягушек, которыми вода буквально кишела. Те поднимали переполох и выпрыгивали из канавы, выпучив глаза и квакая во все свое лягушачье горло.

Однажды Гриша, шести лет, будучи один, не удержался и плюхнулся в воду. Он помнит тину, характерный запах болотной воды, как барахтался в ней, как лягушки, задевая его лапками, кинулись врассыпную. Вот тогда-то он, наверное, и научился бы плавать, если бы не сестра матери, тетя Лиля, загоравшая невдалеке. Она выгатила горе-пловца, всего обляпанного тиной и мелкими водорослями, на «берег». Таким было первое Гришино общение с водоемом...

* * *

Но вернемся на сушу, на огород, где было гораздо интереснее. Хотя бы взять растущую перед сараем большую раскидистую сливу. На нее можно было легко залезть и, главное, удобно усесться на крупной ветке у ствола. Взору при этом открывалось несколько дворов наших соседей, и детское любопытство вполне удовлетворялось наблюдением за тем, что там росло и что там происходило.

Поэтому, наверно, то ли потому, что игра в войну, в партизан и разведчиков в крови у мальчишек, то ли по другой какой причине, но чем еще объяснить стремление детей «партизанскими» тропами, ползком по-пластунски, тайно залезть в чужой огород и вознаградить себя за «подвиг» обычной морковкой? Неужели она была слаще собственной? — ведь на своем огороде и в саду они имели все, что душе угодно.

Но, так или иначе, если уж «партизанить» и «воевать», то по-настоящему. А для этого, кроме «оружия» и «амуниции», нужен был и настоящий блиндаж. Что и было сделано однажды, в перерыве между уходом родителей на работу и приходом домой на обед (в поселке все ходили обедать домой), — буквально за четыре часа лопатой и ломиком была выкопана прямоугольной формы яма глубиной в метр и над ней сооружен шатер из досок, картона, толи и старого покрывала, найденного в сарае. Для входа в блиндаж Гриша сделал удобные ступеньки. В земляном его полу сотворил еще и закрывающийся сверху подвальчик, в который натаскал сухарей, соли и несколько картофелин, морковок, огурцов с помидорами, яблок и луковиц. Было еще в блиндаже специальное место для хранения «оружия»: ружья — из ствола подсолнуха с мушкой и рогаткой, игрушечного металлического пистолета, деревянного автомата, деревянного же кинжала и двух гранат из перезревших огурцов. Блиндаж получился на славу. В довершение рядом с ним был установлен флагшток, на котором развевалось знамя — кусок материи из старого красного сарафана.

Мать, когда пришла на обед, только взглянула на сооружение и улыбнулась. Видимо, ей пришлось по душе трудовое творчество сына. Пообедав, она даже позволила Грише показать ей и внутреннее устройство блиндажа.

Всю вторую половину дня он приглашал своих знакомых ребят, сестренек своих подруг, и они всю, до самой ночи,— когда их буквально разгоняли по домам,— играли в «русских и немцев».

* * *

А еще всегда притягивала Гришино внимание лестница, приставленная к задней части дома и ведущая на чердак. На ее ступеньках всегда можно было удобно усесться, так как пролеты были как раз под него — и ноги можно было удобно поставить, и голову затылком прислонить. На нижних ступеньках он сидел, когда читал книгу. Кругом росли кусты сирени и яблони, и было достаточно тенисто, даже днем, когда солнце выглядывало из-за крыши, направляясь в свое ежедневное путешествие на юго-запад.

Средние ступеньки использовались уже для менее мирных целей: оглядеть все свои владения, то бишь огород, сад и сарай, заглянуть и на «вражескую» территорию — опять же огороды и сады соседей — и пострелять из ружья: уперев подсолнуховый ствол в плечо, держа за «магазин» или ствол, взведя «затвор» — рогатку, прицелившись с помощью мушки из двух гвоздиков,— по движущимся и неподвижным целям. Однажды Гриша попал «в десятку» — в ягодицу соседской девочки-пампушки — ох, и попало же ему тогда!

Еще Григорий обожал закаты. А они были великолепны. Он мог по вечерам подолгу сидеть на верхних ступеньках лестницы и зачарованно глядеть вдаль на солнце, уставшее наблюдать все его хождения в течение дня и ухившее отдохнуть за горизонт, на крыши дальних домов, на неповторимо меняющуюся акварель облаков и на птиц, парящих в небе и прощающихся со светилом до восхода, на высокие, освещенные вечерними лучами деревья.

Лестница еще служила своеобразным тренажером. Какие только упражнения, вплоть до кульбитов, он не проделывал на ее ступеньках. Но однажды сорвался с самых верхних, полетел вниз и умудрился животом упасть на одну из нижних ступенек. Удар был сильным, и даже когда встал на ноги, еще какое-то время ходил, согнувшись от боли в животе. Тетя-врач сказала, что мог быть разрыв селезенки. Но его ничто не могло остановить, и он продолжал свои эксперименты с лестницей.

Она была ценна и тем, что вела на огромный чердак. Свод его из свежих бревен был высок, окно широкое, а «пол» был устлан толстым слоем опилок. От них стоял стойкий свежий древесный запах. На чердаке в жару всегда было прохладно, и дети частенько забирались туда, лежали на опилках или сидели на горизонтальных брусах, разговаривали и играли в свои любимые игры.

* * *

Доступной и практически единственной сладостью для Гриши и сестер была тогда пастила, которую привозили тети, сами бедные, как монастырские крысы, и приезжавшие в летние каникулы из института на садово-огородное довольствование. Кусок пастилы лежал в шкафчике в сенях, завернутый в пергаментную бумагу, и дети в течение дня отщипывали от него по кусочку. А еще — молочное мороженное в бумажном стакане с деревянной плоской ложечкой, на которое давала рубль, а после денежной реформы 61-го года десять копеек, тетя Фаина или старьевщик за кучу металлолома; стакан газировки с сиропом за четыре копейки и халва в школьном буфете — вожделенный Гришей завтрак. Еле дождавшись большой перемены, когда открывался буфет, он бежал туда и на копейки, данные ему, чтобы купить пирожок или бутерброд, покупал сто грамм халвы и ел ее маленькими кусочками.

Была еще одна, самая большая, настоящая, радость — на Новый Год, годовщину

Октября и 8-е Марта, родителям давали на каждого ребенка по пакету с очень вкусными гомельскими и московскими конфетами и печеньем. Дети прятали свой пакет, чтобы никто не мог посягнуть, и долго — порой недели по две — наслаждались этими сладостями. Гриша очень любил есть одновременно шоколадную конфету, печенюшку и яблоко, откусывая понемногу от каждого. Они не были избалованы сладостями, как, впрочем, и всем, включая еду, игрушки, одежду и обувь. И когда доводилось зайти в гости к другу — сыну врача, то большой ломоть белого хлеба с толстым слоем шоколадного масла был королевским угощением. А школьный костюмчик, покупаемый на вырост, носился три-четыре года. За все Гришино детство из игрушек у него была одна небольшая грузовая машинка, один резиновый, двцветный, с полоской по «экватору», мяч, пистолетик, который он сам купил на сэкономленные деньги (за что получил хорошую трепку), и совок с ведерком. Когда Грише исполнилось двенадцать лет, тети подарили ему шахматы.

Питалась семья очень воздержано. Утром — чай с бутербродом, днем на обед — суп и картошка или каша с мясом из супа, вечером — котлета или селедка с картошкой. Когда Григорий женился, домочадцы были очень удивлены тому, как он сверхтонко намазывал маслом ломоть хлеба. Вот так он и питался вплоть до двадцати трех лет.

А тогда он все свободное время проводил на земле — во дворе, на улице, в саду-огороде, причем с мая по сентябрь включительно — практически постоянно босиком. Может быть, поэтому, когда в четырнадцать лет переехал к сестре матери, на их родину, в Тулу, и стал жить в городской квартире, через три-четыре месяца случился у него острый аппендицит.

Но это все было потом. А тогда о таких вещах не думалось, и каждый день был, как целая жизнь...

* * *

Водопроводов в поселке в частных домах тогда не было, и за водой они ходили к колонке, находящейся в ста метрах от дома. В Гришины трудовые обязанности входило: натаскать в большую металлическую бочку воды и полить огород и сад. А еще мать поручала ему отжимать замоченное в растворе хозяйственного мыла белье всей семьи, а она у них была большая — пять человек (бабушка Аня занималась хозяйством самостоятельно).

Поручалось Григорию также присматривать за сестренками — Галей и Киной, которые, как и он, были октябрьскими. Разница в возрасте между Гришей и Галей, была три года, и потому быть ей няней он не мог. Ею была бабушка Рая. Бабушке же Ане мать такую роль не доверяла, памятуя, наверное, о травме мужа, Гришиного отца, в младенчестве. А вот Кирочке Гриша был с младенчества самой настоящей нянечкой — менял пеленки, пеленал, качал и кормил, когда мама была занята. Жили они с сестренками дружно, наравне принимали участие в детских забавах.

Дружил Гриша и со сверстниками, но игры чаще устраивал с детьми моложе себя по возрасту. Днем они играли в мяч, а когда темнело — развлекались прятками или, сидя на уличной лавочке у забора, играми-считалками...

Какого же труда стоило родителям «загнать» детей летом домой. Целого дня им было мало, а вечерние сумерки и собственно сам вечер до полуночи добавлял таких сил чудодейственным заходом солнца и дыханием-энергией ночи, что силы их удесятерялись, и они играли по очереди во все игры, которые знали. Ну, а оказавшись дома, сами страшились своего вида, ибо были черны от грязи от пальцев ног до, как говорится, кончиков волос. Тогда бралось большое корыто, наполнялось заранее

приготовленной горячей водой, и первый из детей подвергался «экзекуции» мылом и мочалкой. Затем и остальные, по мере убывания возраста.

Подрастал Гриша, и игры выросли вместе с ним. Одной из них был так называемый теннис. На улице перед домом было ровное земляное место, шириной метра три. На нем чертилась прямоугольная площадка с поперечной чертой посередине. И дети играли простым резиновым мячом примерно пятнадцать сантиметров в диаметре, используя вместо ракетки ладонь.

Младших детей Гриша любил строить в колонну по трое и маршем, в ногу, командуя такт: «Левой! Левой!», вести по улице, да еще под песню. Дети с радостными, воодушевленными лицами с удовольствием играли в это.

А еще любимой Гришиной игрой с детьми был «завод». От сарая до калитки тянулись «цехи», «конвейеры», на которых из «сырья» производилась «готовая продукция»...

С раннего детства Григория тянуло к автомобилям, нравился запах бензина и масла.

Однажды стояла сильная жара — уже с утра парило, — как от рядом горящего костра, сворачивалась трава по обочинам дороги. Солнце огромным пылающим шаром висело над землей, а вокруг него раскаленное, с багряными, как расплавленный металл, переливами небо, будто завесой скрывало голубизну. Гриша с матерью ехали попуткой из Хойник (мать находилась в крытом кузове, а он в кабине), и паренек попросил шофера научить его водить машину, на что тот, конечно, промолчал. Эта тяга вела к тому, что Григорий все время вертелся возле автомобилей... но так и не стал ни владеть, ни водить машину. Хотя один раз в жизни он сел за руль квадроцикла в туристической поездке в Египте, на сафари по пустыне. Водил классно, даже на обгонах и виражах — и это впервые в жизни! Но сейчас не об этом.

Так вот, в первых классах школы, все из-за той же страсти, Гриша соорудил у себя во дворе из фанерных ящиков нечто подобное кабине автомобиля. Там было сиденье, вертящийся руль — колесо детского велосипеда, — рычаг переключения скоростей, педали тормоза, газа и сцепления. Были баки как бы для бензина и воды. Он мог час сидеть «за рулем», управляя своим «автомобилем», издавая соответствующие машинные звуки, ощущая себя, как в реальности, водителем авто.

Прикасаться к его «машине» не смел никто. Даже мать с ее любовью к порядку терпела это сооружение в уголке двора.

А еще Григорий любил из бумаги делать «самолетики» разных модификаций, — не «голубей» бумажных, как их часто называют, а занимался именно «авиастроением». Любил испытывать разные модели — загиб уголка крыла, разлет крыльев, форма носа и хвоста — на дальность, планирование, выполнение разворотов и спусков и так далее. Это было еще одним из самых любимых его детских занятий.

